

Гадюка шипела и кольцами жалась к земле; разломлевших на солнце таких же ползучков, как она, было с десяток; все они разом сползли под огромную бетонную глыбу, сплошь пронизанную стальной арматурой, а к этой я подступил нечаянно слишком близко, за что в ответ она успела стегануть по моей длинной, свисающей на ботинок штанине и, угрожающе шипя, готовилась к повторному броску. Не видя исходящей от меня никакой угрозы, в глубокой задумчивости, я был как будто на приколе, живая пружина с шипящей головкой в середине ослабла, её кольца опали, распустились; чёрная, в золотом узорчье, лента скользнула под глыбу к своим сородичам.

— Ого,— стал размышлять я вслух, удивлённо крутя головой,— в детстве мы бегали здесь босиком, и, помню, наткнулся неожиданно на такую же гадюку; тогда мне казалось, что две ранки на ноге получены от колючей проволоки в груди разного хлама, но из него выскользнула такая же гадина. Старший брат мой, Санёк, предупредил: «Это змея ужалила тебя». Я поверил ему, когда нога распухла и я почувствовал тошноту с головокружением. Так я оказался в винницкой больнице имени Пирогова.

С той поры промелькнуло незаметно почти тридцать лет; глубоко вздохнув по улетевшим годам, я приподнял опущенную голову, вспоминая ушедшее. Но на одной из плоскостей бесформенной глыбы взору предстала не замеченная ранее нелепая надпись: «Бункер взят!» Вполне уместно и даже оправданно, когда на скалах или прочих недоступных местах оставляют надписи, пометки первопроходцы, покорители горных вершин, но когда на доступных местах заявляют о своём бытии праздные туристы, тем более несут разную чушь просто так, по дури или забавы ради,— тут невольно вспомнишь одно из отрывков поэта Маяковского: «Здесь был Вася Хайлов, семейство ело и отдыхало». Та строка, вспоминаясь довольно часто, вызывала во мне если не смех, то усмешку. В те минуты было совсем не до усмешек мне, приехавшему из далёкого Иркутска к бывшей ставке Гитлера «Вервольф» под Винницей, на Украине. Память из зрелых лет моих опускалась к детским, первым послевоенным летам, где, как прежде, в сосновом бору— чахлые сосёнки с обвисшими ветвями обливаются янтарной слезой, а в тени

добротная, как будто вовсе не хоженная, асфальтированная дорожка тянется к дубраве. Недалече— прочная, довольно ёмкая бетонированная чаша бассейна с отходящими от неё к водам Южного Буга аккуратными, кирпичной кладки, колодцами, на дне которых по паре труб— прямой и обратной— с вентилями. Чуждыми смотрятся те аккуратность и крепь, когда в паре десятков метров гнездятся наполовину засыпанные обломками и крошечком комнаты, закутки, коридоры скрытых верхних этажей бывшего подземного бункера. Справа от него громоздятся бесформенные изорванные глыбы, всё так же пронизанные стальной арматурой. Чем дальше те валуны от бункера, тем меньше они по размеру, что напоминает о взрыве неимоверной силы, приведшем к такому разбросу. Между глыбами— осколки, обезвреженные боеприпасы, прорезиненные колёса. Ещё дальше, на необозримом просторе благодатных чернозёмных полей, радовали зелень и разноцветье; на грядках— лёгкие пушинки кокасагиза, что сродни одуванчику; о чём-то о своём шептались налитые зрелостью тяжёлые колосья ржи и пшеницы; память уносила меня за два-три километра, в Стрижавку.

То, что в детстве сказывали матери и бабушки моих одноклассников, таких же, как и я, подранков, занимаясь разной работой: с кукурузными початками, шитьём, штопаньем или глажением тяжёлым угольным утюгом; то, что вскользь касалось слуха, но ещё не проникало в глубь души— с годами становилось всё весомей, значимей и зримей; здесь, у развалин, оживало по новой, обретая особое звучание, видимость и силу.

На простой украинской хате тех времён— четырёхскатная соломенная крыша; белые глинобитные стены небольшими оконцами глядят на прохожих исподлобья. Я сижу в хате у такого открытого оконца со своим другом и одноклассником Николой Жучко. На стенах под рушниками— фотографии отца и старших братьев, погибших на войне. Из окна мне виден сад с яблонями, вишнями, сливами; ветка ближней яблони с тяжёлыми, ещё неспелыми плодами золотого ранета, от грузности своей опустилась на подоконник. Я вдыхаю медовый, с кислинкой, запах, а на слуху знакомые

до слёз строки Тараса Шевченко: «Садок вышнёвый колохаты, хрущи над вышнями гудуть...» Вскоре эти строки меркнут, угасают, другие, более суровые и прозаичные, сказания наполняют тусклую комнату. Это Николкина матушка Таисия с соседушками Оксиньей и Марьей, такими же вдовушками, ведут свою печальную беседу о незабвенных годах.

— Вокруг Винницы столько гарных мест, а краше наших воров не сыскал.

— Нет, Оксинья, какая-то страшная нечистая сила нашептала Гитлеру окопаться за Коло-Михайловкой—напротив моста через реку; заодно испоганить все наши святые места. В Стрижавке он с первых месяцев войны занял самые хорошие хаты для офицера, школу, клуб и контору для постоя солдатни. Колхозные конюшни, коровники вместе с дворами окружил колючей проволокой, кругом наставил сторожевых вышек.

— Всю скотину отправили в Германию; вместо неё в скотохоромы загнал пленных не только с фронтов—отовсюду: с ближних и дальних оккупированных районов. Днём и ночью они спускались из крытых машин и шли цепочками по солдатскому коридору к своим дощатым, в два яруса, с соломенным настилом, нарам. Под нарами тоже стелили солому.

— Вблизи у ворот, под навесом, выпекали эрзац-хлебá. Дымилась кухня целый день, воняло от неё гнилым мясом, ржавой селёдкой. Около пня крутился здоровенный мясник с сокирой, какие были у палачей. Он рубил вонючие собачьи, конские и ещё какие-то туши. Часто отворачивался и рубил почти не глядя. Повара бросали в большой котёл рубленные куски и тоже отворачивались; часто их тошнило от чего-то такого, о чём и сейчас сказать нету сил...

— Зато узники длинной очередью громыхали мисками, проходили мимо котла. Повар плескал в каждую чашку черпачок баланды, другой туда же бросал кусок мяса с эрзац-хлебом. Пленники спешили к своему подобию столовой и всё, что было в чашках, съедали на ходу.

— По селу пошла чужая мова, музыка и песни по радио, из патефонов, под которые только строем шагать. Ночью на столбах—электрические лампы, собачий вой, трескотня движков, а от них кино на больших полотнах. Самой громкой стала базарная площадь, где громадный кирпичный туалет. С громкоговорителей и перед показом кино слышно было «гавканье» Гитлера и долгие-долгие безумные крики воинствующей толпы. Как привезут солдатам девок из города, начнётся такое веселье: визг, хохот, крики в ночи.

— Пленных стали сразу гонять на работу: одних—прямоком поверху к гранитному карьеру, где стояли казармы «мёртвоголовников». Больше всего бригад направляли по нижней дороге через мост,

мимо Коло-Михайловки, к соснам. Там, у особо запретной зоны с тремя рядами колючки и десятками вышек, велись какие-то секретные работы. — А ты заметила, Марья, сколько пленников было в каждой бригаде?

— А как не заметить, когда работяг выводили рядами по десять, и рядов всегда было десять? Конвоиры с автоматами и овчарками шли по бокам, впереди и сзади; овчарки при них—как телки. — Спешат, помню, солдаты, орут как скаженные, подгоняют: «Шнеля, шнеля, марширен, думмэс фи!» Скотами называли пленных, а всех нас—«швайнами». «Сам ты швайн»,—так я ответила тихонько одному солдату, а он чутким оказался, разворачивается на пороге и отвечает: «Я, я—швайн!»

— Вертались пленные с работ, еле волоча ноги, строй их редел на глазах: на тех, кто отстал, споткнулся, не дай Бог, упал, бросались озверевшие собаки; охранники, которые сзади, прикладами добивали пленных.

— А знаешь ты, Аксинья, возвращались пленные только с гранитного карьера. В особо запретную зону была только прямая дорога, для пленных и для солдат.

— Самое жуткое начиналось с приходом холодов: работяги в обшарпанной холодной одежде, полуголодные, на вонючей баланде с эрзац-хлебом, все как один хлопали в ладоши, махали руками, как крыльями, и так же разом на ходу приплясывали, чтобы согреться, напевая знакомую песню: «Как на серенький лужок выпал беленький снежок».

— Миколка, мой семилетний, как поглядел на такое диво, так и сказал: «Мамо, дывысь, воны як зайчики стрыбають»... А солдатам глянулись такие «попрыгайчики»—ржали как жеребцы, потешались и кричали: «Гут, Иван, гут». Требовали: «Нох, нох, танцен, танцен!» Солдаты и сами приплясывали, вовсе не зная, что ждёт их там, в секретной зоне.

— Мы, бабы с детьми, были рабами оккупантов; нас, хворых и здоровых, под надзором полицаев заставляли пасти скотину, кормить, доить, сеять, полоть и убирать сахарную свёклу, картошку, яблоки и груши в садах. Солдатам полагалось всё, а они врывались в хаты с криком: «Яйко, шпек унд шнапс!»

— Сало им, горилку где хочешь, там шукай и подавай...

— Так было изо дня в день, из года в год; но и для них настали чёрные деньки: молодчиков за год до Победы как будто подменили—забегали они, засобирались. Пленных всех разом, без расчёта на сотни, угнали за мост; сами вскочили в машины—и только пыль за ними вслед. За ними бежали полицаи и разные холоуи, они цеплялись за борта, а их били по рукам прикладами.

— Мы мальцов укрыли по сараям, погребам; сами притулились в закутках, ожидали самого

страшного, хотя к нему давно уже привыкли. Тогда бабахнуло за мостом, в запретной зоне; громыхнуло так, что земля содрогнулась, крыши соломенные, как казачьи шапки, с домов послетали, окна со звоном — следом за ними.

— День настал чёрный, «як ничка бэз зирок». Долго не верилось, что оккупанты ушли, кончилось наше рабство, пока не пришли наши армейцы; следом за ними мужики, искалеченные войной: без рук, с деревянными ногами, а то и вовсе без ног, на скрипучих тележках. Мучились чахоточники в приступах кашля с хрипотой идущей, с харканьем и кровью. Они носили с собой баночки-закрывашки, чтобы не разнести страшную, неизлечимую тогда ещё хворобу — туберкулёз. Людские толпы каждый день собирались у пивнушки. Хитрая и ловкая торговка Фрося качала из бочки пенистое пиво в бокалы. Одни заливали им своё горе, другие — телесно-сердечные раны. Только тогда мы гоняли узников в запретную зону.

— Помнишь, Таисия, как мы всем селом отправились к мосту? Глядим на него — он взорван. Сапёры ладят переправу бревенчатым настилом. К нам подошёл офицер, сказал: «Только вам повезло, вся Винница в руинах, все сёла вокруг сожжены и разрушены. Десятки тысяч невинно погибших мирян. Многие ещё не погребены...»

Вспоминая всё это, я ощутил черноту с едким дымом от взорванных неприятелем двух вагонов взрывчатки. Как будто из мрака предо мной выплывали всё те же огромные глыбы, и прежде всех та, испачканная глупой надписью: «Бункер взят». Далее памяти коснулась последняя мною прочитанная небылица о «логове» в центральной газете, где словоохотливая бабуля из Стрижавки поведала журналисту о Гитлере и Еве Браун в самом логове Гитлера так, словно, находясь там, подглядывала за любовниками, хотя всем известно: каждый ступивший в ту зону бесследно исчезал. Только последняя сотня пленников из Стрижавки была найдена нашими воинами во рву, их трупы не успели сжечь.

В детстве мы, жители ближайших селений, называли это жуткое место «дачей Гитлера». Часто бегали туда, подбирали сосновые шишки для топлива, в свободное время играли в войнушку. На колхозных полях, что раскинулись справа от логова, помогали в прополке посадок; собирали колоски, а более того — семена коксагиза, очень схожие с пушинками одуванчика (корни были ценнейшим сырьём для производства каучука). Кишачие под глыбами гадюки с годами всё больше казались нам, местным жителям, душами тех, кто, как говорится, «с мечом к нам пришёл».

Хотелось забыться, уйти прочь от этого гадкого, заражённого, испоганенного врагом, некогда святого места. Вспомнить нечто отрадное, более

светлое... «Южным Бугом зовётся река; мне близка, хотя так далеко, до сих пор её тёплые волны мою память до донышка полнят; всколыхну, расплескаю слегка...» С теми строками, выплывшими из душевной глубины, через шоссе, сотканное из гранитных плиток, я отправился к реке. Только в ней оставалось спасение от печальной памяти и палящего в зените солнца. На водной глади близ бетонных мостовых опор, почти не шевеля плавниками, застыла стайка крупных чебаков. Вокруг, куда только доставало око, виднелись одни лишь головы купальщиков; даже самые азартные пловцы, поплавав вдоволь, поплескавшись, опрокинулись на спину, держась неподвижно на поверхности парной воды. Течение реки тихое, почти незаметное, да и всё вокруг утихло, обомлело. Лишь здоровенный детина лет двадцати, в переизбытке бурлящей радости и необузданной энергии, стоя по грудь в воде, выпрыгивал из неё до колен; вздымая руки кверху, громогласно, словно на аукционе, расхваливал свои довольно рельефные бицепсы, умолкнув только тогда, когда в прыжке с него слетели трусы.

Чего только не было на этой реке — весёлого и печального! Сколь жизней унесла она, особенно зимой, когда горе-смельчаки пытались переехать её по льду. Скольких вынесла она на своём плаву. Сам я с Божьей помощью остался живым, когда восьмилетнего меня, ещё только постигавшего азы плаванья, сбросили с моста ребячьей забавы ради, я оказался тогда одним из щенков, брошенных в прорубь, но выплывших на выбор хозяина. Не плыл я, а барахтался по-собачьи. Игольчато-тоненький голосок Гали Очеретной, моей подружки и одноклассницы, стоявшей на берегу, указывал мне, ничего не видящему, точное направление.

Здесь, у реки, подружился со своим сверстником Мишкой, из обычной многодетной семьи Юрченков. У них, как говаривали, «семеро по лавкам, а ещё двоим на тех лавках больше места не хватило». Мишкин отец, израненный на Первом Украинском фронте, умер в иркутском госпитале. С печальной вестью, прощальным наказом и кое-какими гостинцами от него однажды приехал его товарищ из госпиталя, Адам Данилович Юрченко. Приехал и, как это часто бывало в те годы, остался в семье примаком, а детям отцом. Семья его погибла под бомбёжкой в первые же годы войны в Белоруссии. Адам Данилович оказался на редкость здоровым мужиком и мастером на все руки; а то, что у него одна нога прострелена, другая — деревянная, скрипучая при ходьбе и напоминала по форме бутылку горлышком вниз, да то не в новинку: сколько их, таких, вокруг и рядом... Адам Данилович о томнисколько не печалился, чаще шутил: «Нам, таким древоногим, не страшны никакие бандиты и даже скаженные собаки». Под стать ему была и Мишкина маманя, Арина, добрая, полнотелая,

весёлая; она в кругу своих односельчанок часто, смеясь, грозила перепилить мужзину деревянную ходулю, если в очередной раз застучает муженька где-нибудь на соседнем сеновале.

Там, на реке, узнал от Мишки последнюю новость—о возвращении немецких военнопленных к себе в Германию. Отчим работал на станции Орша, где предупредили о проезде особых эшелонов с бывшими фашистами из спецлагерей; эшелоны должны проследовать через Винницу на Оршу. Вместе с такими же эшелонами они двинутся прямой скоростной дорогой на Берлин. Новость всколыхнула сердца и умы тех, кто видел врагов воочию, и тех, кто понаслышке знал о военных злодеяниях. Мы приехали туда после войны. Отец мой, получивший первые раны ещё в финских болотах под прицелом «кукушек», то есть снайперов, умер в сорок шестом году.

Ради единого взгляда на бывших оккупантов, даже во вскользь, мимо проходящих вагонов, ребята из ближних сёл и мы, дети вольнонаёмных работников трудовой колонии, столпились на обочине железной дороги у безмянного полустанка. Со мной были мои младшие братья, Витёк и Юрий (старший брат, Санёк, находился на работе). Трёх младших братьев позволили взять с собой Михаилу. Нам было по пятнадцать лет.

После долгого и, казалось, уже напрасного ожидания вдали послышался тревожный крик паровоза: вначале длинный, а затем три коротких гудка возвестили вовсе не предвиденную остановку. Впереди пути наверняка велись срочные ремонтные работы. Семафор с опущенным крылом предупреждал о том же. К полустанку подкатывал товарняк с полутора десятками вагонов коричневого цвета. В таких деревянных вагонах перевозили зерно, корнеплоды, продукты и даже скот. В них новобранцы и воинские части уезжали на фронт из Сибири и Дальнего Востока. Один из таких вагонов, как помню, третий от паровоза, с шипением и скрежетом тормозных колодок, оказался самым ближним к нашей компании. Был обычный тёплый летний день; в открытом проёме вагона, облокотившись на прочную брусчатую перегородку, в одинаковых серых навывпуск робах, в картузах с большими козырьками, столпились худощавые, подтянутые, пленённые нашими частями на различных фронтах, не говоря о сталинградском котле, бывшие фашисты. На закрытых объектах нашей страны, в спецлагерях, вполне справедливо, они вели строительно-восстановительные работы. Мы молча, кто со страхом, а кто и с грустью, смотрели на самых обычных, чем-то опечаленных людей, невольно задаваясь вопросом: «Неужели это они—одни из тех, кто вероломно вторгся в нашу страну? Кто убивал, насиловал и грабил?» Да, это они с задумчивыми, поникшими лицами возвращались к своим

гнёздам, откуда сёстры, невесты, матери и жёны в диких выкриках вскидывали руки, словно пики или штыки, вдохновляли и гнали их на кровавую бойню на восток. Потом радовались их победоносному шествию на первых порах; богатству, плывущему с востока, красивым молодым рабыням, золотым кольцам, содранным с пальцев, и даже зубам убиенных. И вовсе ни к чему винить Гитлера—у каждого своя голова на плечах. Были же среди них антифашисты!

Лишь в середине столпившихся молодых, примерно тридцати-сорока лет, пленных заострил наше внимание самый пожилой седовласый немец. Он, видно было, часто прикладывал к глазам платочки, вытирая слёзы, то опускал, то поднимал голову. Кто его знает: возможно, уходя на бойню, оставил дома своих ребятишек, а сейчас, глядя на нас, предвидел встречу с ними, а может быть, и с внуками. Слева от него тот, что намного моложе, положил руку на плечо седовласому, наверняка успокаивал его. Беспокойство охватило всех нас собравшихся. Среди нас послышался шепоток, а вместе с ним появилась догадка: «Тот немец голоден, он хочет есть». Мы подумали так, потому что сами всегда голодали. Конечно, ягод, яблок и прочей садовой культуры нам хватало: в частных, колхозных и колониистских садах, где мы часто были биты сторожами и нередко приводимы за уши к родителям. Хлебушка нам не хватало—он нам чаще виделся во сне, нежели наяву. Мишкина матушка, снаряжая ребятишек в поход, испекла неизменную круглую паляницу; половину коврижки положила в торбочку, разрезав на шматки, приправив постным маслом с крупинками соли. Хлебушко, конечно, со смакованием каждой его крошки, был съеден ещё в дороге. Но Мишка оказался, к удивлению, не по годам предусмотрительным, потому и припрятал пару шматков как нз. Самым смелым и смыслёным среди младших оказался Мишкин брат, Максим; он, единогласно избранный нами утешителем, смело шагнул к вагонному проёму. Приподнялся на обочину и оказался на высоте. Со словами: «Дядь, визьмить, будь ласка»,—а после них припомнил тройку более подходящих слов: «Битте, есен, есен—брот»,—притом сам откусив чуток горбушки, протянул седовласому немецу угощение. Тот опешил, вздрогнул, в широко открытых его глазах показалось удивление. Он, вытянувшись по стойке «смирно», а более того в некоей растерянности, глядел то на мальчишку, то на его угощение; и вдруг, словно опомнившись, резко крутанулся, исчезнув в глубине вагона. В эту минуту приподнялось крыло семафора, паровоз дал гудок отправления, эшелон тронулся, звякнув межвагонной сцепкой, медленно набирал скорость. Когда вагон отошёл с десятков метров, в вагонном проёме вновь показался седовласый

немец; его приятели перед ним расступились, а он прилёг и бережно опустил на бровку дороги сетку-авоську с несколькими банками тушёнки и кульком со сладостями.

Тот поезд уходил, а мы, словно прикипев к обочине, ещё долго махали вслед, прощаясь не только с поездом и его незабываемыми пассажирами, но и со всем, что безвозвратно уходило в прошлое, но было незабываемым—такое забыть нельзя. А я прощался не только со своим детством, но и с прекрасной Украиной.

Скоро мы всей семьёй во главе с матушкой уехали в Сибирь, к её жемчужине—Байкалу, ставшему мне родным. В конце марта в Украине на лесных проталинах уже тянулись к весеннему солнцу подснежники. За Уралом по ночам трещали тридцатиградусные морозы. Ехали мы, переселенцы

из Белоруссии и Украины, в таких же уже упомянутых вагонах (их называли теплушками: в середине каждого вагона теплилась железная печурка-буржуйка с выводной трубой).

Из Иркутска мне удалась лишь одна поездка в Украину, к памятным местам. Как всегда—работа, неотложные дела, а когда убавились они—более веские появились причины, другие пришли времена. Как жаль, что заканчивать этот рассказ приходится такими вот строками из личного стихотворения: «Я верю Украине»: «...И Гоголя лик в тумане—святая усмешка в глазах—в родные места поманит, а нам уж туда нельзя... Страна—грозовая туча, истерзана и больна. Без вёсел в Днестре могучем качается чёлн на волнах. Но верится нам всё чаще: настанет рассвета пора—и явятся здраво глядящие Богдан и Шевченко Тарас».